

Г.Г. Шаповалова

## «Я НЕ ГЕРОЙСТВОВАЛА, А ЖИЛА...»

Я никогда героем не была,  
Не жаждала ни славы, ни награды.  
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,  
Я не геройствовала, а жила...

*О. Бергольц*

В этот день, 22 июня, было необыкновенно по-летнему тепло, солнечно, сверкала только что распустившаяся листва, даже в городе в воздухе чувствовался аромат цветения. И на душе у меня было празднично: я сдала последний госэкзамен на отделении литературы и языка в Пединституте им. А.И. Герцена и решила отметить для себя этот день — пойти в театр. Давно приметил я, что 23-го в Кировском театре должен идти «Лоэнгрин» с участием Лемешева и не брала билеты лишь из суеверия.

Мой папа, директор 384-й школы Кировского района уходил из дому рано в 7 часов (мы жили на углу Пушкинской и Бармалеевой) и, чтобы не шуметь и не будить меня, не включал радио. И вот я с легким чувством «свободного» человека, закончившего вуз, уже работающего в Пушкинском доме (ИРЛИ АН СССР) и законно имеющего выходной, иду по Большому проспекту Петроградской стороны, и мне кажется, что и всем так же хорошо и легко, как мне, и мне хочется улыбаться, и я даже не замечаю, что в идущих мне навстречу людях произошла какая-то перемена в выражении глаз, лиц... Но вот застучал метроном... А, подумала я, наверное мы еще установили какой-нибудь мировой рекорд... И тут раздается незабываемый голос диктора Левитана: «Говорит Москва! Слушайте чрезвычайное правительственное сообщение...». Когда в литературе встречается фраза «увидев (услышав) что-то он (она) остолбенел(а)»,



*Галина Григорьевна Шаповалова, научный сотрудник отдела Восточной Европы, фольклорист. Работала санитаркой в госпитале и на оборонных работах. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».*

обычно пробегаешь глазами, воспринимая, как метафору удивления. Но, увы, это реальное ужасное ощущение, когда человек не может осмыслить реальности произошедшего, когда «обрывается» и уходит куда-то вглубь сердца, ноги и руки перестают слушаться, и ты весь превращаешься в слух, зрение, как, все кажется, что ты что-то не понял. Вот это произошло и со мной. Я не понимала значения слова «война», но по лицам окружающих взрослых людей (а по многим из этих лиц текли слезы) я поняла, что на нас надвигается кошмар. Толпа, молча стоявшая у репродуктора, не шелохнулась во все время, пока говорил Молотов, и даже когда в конце передачи прозвучали слова, ставшие потом рефреном постоянных передач: «Смерть фашистским захватчикам!» — толпа не сразу разошлась. А когда стали расходиться, каждый, как и я, вероятно, почувствовал, что на плечи легла чудовищная тяжесть, и сколько ее нести? Хватит ли сил? Доживем ли до Победы? Вот характерный психологический момент. Не знаю, как другие, но я и многие вообще просто не представляли, не понимали и не допускали мысли, что война может окончиться не Победой. И при этом скорой. Приходили на память Халхин-Гол, финская кампания, т.е. 3—4 месяца, не больше, а к тому же где-то война будет «там», на границе. Но вот через полчаса зазвонил телефон — срочно вызывали в Пушкинский дом.

Было очень странно зачем-то сколачивать ящики, упаковывать экспонаты, когда было так тепло, солнечно, никаких «неприятных» звуков, в Ленинграде такое чистое небо... Но уже на другой день в этом чистом небе повисли щепелины, окна домов как-то мгновенно «закрестились» бумажными полосками. Заклеивая окна, мы священнодействовали — казалось, это самое главное — и, выполнив «заклейку»-оберег, чувствовали себя в полной безопасности. Не знали мы, что через три месяца, при первых же бомбежках наши бумажные полоски-обереги полетят вместе со стеклами. И хорошо, что не знали. До 14 сентября мы жили спокойно.

В Институте литературы, бывшей таможне, здании, построенном архитектором Лукини в 1831 году на месте сгоревшей старой деревянной таможни, мы выгребали весь мусор, обломки чего-то в прямом смысле столетней давности и засыпали весь чердак песком, привезенным на двух трамвайных платформах с Поклонной горы. Была чудесная «белая ночь». От площади Пушкина, где остановился этот трамвай, мы стояли «цепочкой» до самого здания ИРЛИ и передавали друг другу ведра с песком. До страшного еще было время. Какое оно, мы не знали, а сейчас все были охвачены одним — разгрузить платформу до

6 часов утра, чтобы не задержать движение, засыпать чердак, ящики, мешки песком. Работали все с равным напряжением — и дирекция, маститые ученые, технический персонал, и мы, молодежь, только начинающие свой путь в науке. Окончив в срок это дело, переключились на укладку экспонатов. О том, что нужно поспать, отдохнуть, — разговору не было, важно было другое — «успеть!».

Но вот 29-го поступило распоряжение: «Всем институтам выехать на оборонные работы». И, оставив несколько человек в Институте и тех, кто сопровождал ящики с экспонатами в глубь страны, мы выехали 30 июня на станцию Батецкая Новгородской области. Нам сказали, что мы едем на три дня, мы так и собирались, а пробыли там месяц. Без теплых вещей (лето было очень жаркое), кто в одном сарафанчике, кто в летнем платье. А тут, как на беду, разразилась гроза и после нее — похолодание. Промокли до костей. Сушась у костра, я прожгла дыру на сарафане. Как чинить? Чем латать? Спасибо, кто-то пожертвовал мешочек из-под продуктов. Вот так и ходила недели две. От холода спасались одеялами, завернув половину на туловище и привязав веревкой или мочалой, а другой конец накинув на голову. Особенно живописно мы выглядели, когда шли по дороге от нашего объекта работы — противотанкового рва — к палаткам, которые, как потом выяснилось, были нами устроены в прямом смысле на передовой, в двух километрах от немцев, а копать мы ходили километра полтора — два в тыл. Да и как рыть, нам показали не так. Одним словом, это был какой-то диверсионный акт. На этой трассе нас работало около двух тысяч человек, в основном женщин с предприятий Васильевского острова. Рядом с нами работала фабрика «Промпуговица» (Волховский переулок). У нас быт был организован отлично, так как среди нас оказались заведующий лабораторией фонограммархива Ю.И. Клочкив и отличный администратор М.М. Калаушин. Остальные мужчины: Д.С. Балухатый, Р.А. Бялый, М.О. Скрипиль, И.П. Еремин и другие составляли «совет старейшин» и выполняли поручения первых двух. Поэтому в первую же ночь по прибытии на «место» — а это был угол между Новгородом и Лугой, шли мы туда часа четыре — мы уже спали в палатках из веток, которые мы соорудили под руководством Клочкива. Мы варили в купленном в магазине ведре суп, кашу и пр. Если бы не работа, в прямом смысле от зари и до зари, то нам просто все это нравилось, как нечто необыкновенное, нам было интересно и даже весело, пока... пока проходившие по дороге войска не заставили нас задуматься... Вскоре выяснилось, что Псков горит, что в Новгороде высадился десант, Луга тоже обстреляна и горит.

В эту ночь, только мы легли спать, вдруг начало полыхать голубоватое пламя, начался какой-то хаос — свист снарядов, разрывы, крики людей. Наши начальники закрыли собой вход в палатку: «Лежать! Не трогаться с места. Убьет, так убьет всех сразу, а выскочите — пропали!». И они были правы. Тьма после вспышек была еще гуще, мы толком даже не знали, где мы территориально. Лес и лес. Обстрел продолжался минут пятнадцать, но нам он показался вечностью. И когда грохот, крики и топот прекратились, от нервного перенапряжения мы просто провалились в сон. А утром выяснилось, что немцы били не по нашему лагерю, а через нас по военной части, которая должна была расположиться за нашим противотанковым рвом в лесу, но, как только стемнело, они тихо ушли. Жертв не было. А вот в нашем лагере, как только начался обстрел, многие повыскакивали и кинулись бежать в прямом смысле «куда глаза глядят» и убежали... прямо к немцам, которые оказались совсем рядом с нами, километрах в полуторах. От «Промпуговицы» осталась только четверть людей, несколько человек вернулись, они-то и рассказали нам про немцев. Какая-то женщина сошла с ума. Вот тут мы поняли, что мы на фронте, а фронт — везде... Стало как-то ужасно холодно внутри. Пошла полная неразбериха: где немцы? где линия обороны? где Ленинград? По дороге группами шли солдаты. Мы все же вышли на свою трассу. К нам быстрым шагом, отделившись от одной из групп, подошел пожилой подполковник. Спустился с нами в противотанковый ров, осмотрелся и присвистнул: «Ну и дела!». Но он не кончил, над нами просвистел снаряд. «Ложись!» — скомандовал подполковник. Мы бросились на землю. Ожидая еще разрыва, мы не вставали, я спросила подполковника: «А разве Вы боитесь снарядов? Вы ведь военный?». Он ответил: «Пуль и снарядов не боятся только дураки! На войне важно остаться живым и выполнить задание, а не “геройствовать” попусту!». И это я запомнила твердо. Пригодилось. Мы, естественно, спросили, почему никто нам не дает команду, что дальше делать? — Он ответил: «Уже никого нет. В Новгороде, Луге — немцы. Срочно уходите на северо-запад. Там Батецкая должна быть». И, неопределенно махнув рукой в этом направлении, он побежал догонять уходящие подразделения.

Мы все поняли. Поняли весь ужас нашего положения. Срочно собрался наш «штаб», послали по трассе собирать всех, кто был там, чтобы двигаться в указанном направлении. Оказалось, из полутора тысяч нас осталось человек 500—600. Пошли скорым шагом. Но уже начало темнеть. Дошли до какой-то деревни и решили переночевать. Пока грели воду, варили картошку, начальники «штаба» М.М. Калаушин и

Л.А. Плоткин решили выйти за деревню и наметить путь следования на завтра. Вышли за деревню. Впереди огромное поле, а по горизонту лес, охваченный заревом пожара. Мы оказались в прямом смысле в огненном кольце, и лишь на северо-западе стоял темный лес, как бы пролет в этом огненном кольце. За ним где-то был Ленинград. Мы вернулись в деревню и, решив перед дорогой отдохнуть, стали устраиваться, — кто на печи, кто на лавке, кто на полу. Но не успели и глаз сомкнуть, как за окном раздался лошадиный топот. Кто-то скакал во весь опор по деревне, кричал: «Где тут штаб ленинградцев?». Мы подскочили к окну... Всадник, заметив нас, круто осадил лошадь и буквально заорал: «Какого черта вы тут сидите! Быстро бегом уходите!.. Немцы!..» — и ускакал. Мы схватили наши пожитки и кинулись бежать вдоль деревни по направлению к «темному лесу». Но у околицы, с проселочной дороги на нас бежали солдаты, неслись телеги, всадники, орудия, и мы невольно, как овцы, сгрудились и остановились, пропуская их, но, заметив нашу растерянность, солдаты закричали нам: «В лес, в лес бегите!..». И мы побежали. Хорошо, как нам тогда показалось, что светила луна и хоть слабо, но освещала нам старую проселочную дорогу, а может быть широкую тропу через лес, не помню, смотреть по сторонам было некогда, мы буквально бежали. Впереди, указывая дорогу и чтобы не сбились остальные, бежал в белой рубашке Б.И. Бурсов. Напрягая зрение, мы старались не упустить из виду впереди бегущего. Отчаянно колотилось сердце, а в голове стучала одна только мысль: «Скорее, скорее...». Иногда над нами пролетали снаряды, но рвались где-то далеко. Где-то вдали слышен был характерный «топот» канонады... И вдруг, о ужас! Лес кончился, перед нами было огромное поле, совершенно голое место, а лес чернел за полем. Чтобы попасть в него, надо было пересечь поле, через которое продолжалась все та же старая проселочная дорога, по которой мы бежали. Но на открытом месте выяснилось, что на небе светит огромная луна и освещает дорогу так, что хоть иголки собирай. А вот слева... слева горела деревня, слышна была немецкая речь, плачь женщин, вой собак, стрельба.

От ужаса мы окаменели. Было похоже, что все с нами кончено. И тогда М.М. Калаушин дал команду: «Ложись! По канаве (она шла рядом с дорогой) ползком через поле! Тихо!» Повторять было не нужно. Все залегли и поползли так тихо, что ни один звук не нарушил стоявшей над нами тишины. Иногда раздавалась приглушенная команда «Стой!», и вся цепочка замирала... Так мы перебрались через поле и, войдя в лес, опять побежали. На каком-то перегоне нам навстречу выскочили бойцы, отступавшие от деревни Лаврово. «Куда бежите-то,

немцы там! Бегите левее на Батецкую!». И мы взяли левее. В ту ночь, как потом мы высчитали, мы пробежали 36 километров. Когда вышли на Батецкую, ее как станции и поселка уже не было, — одни головни, груды кирпича, перекореженные цистерны. Мы прошли в сторону Ленинграда еще с полкилометра и остановились в кустарнике. М.М. Калаушин и Л.А. Плоткин пошли искать полевую рацию в военных частях, чтобы связаться с Ленинградом. Было 5 часов. Я завернулась в одеяло и решила немного вздремнуть — «Вставай, поезд!» — Оказывается, я проспала 4 часа. Было уже 9 утра. Нам действительно подали прямо в лес 4 вагона с паровозом. Мы быстро погрузились и буквально на всех парах покатали в Ленинград. Трудно было поверить, что мы живы, что едем домой, что кошмар пережитой ночи позади. После нас по этой дороге уже не прошел ни один наш состав. Это было 27 августа 1941 года.

Ленинград в конце августа внешне жил еще мирной жизнью, если не считать цепелинов, густо усеявших небо, и наклеек на оконных стеклах. Работали магазины, правда продуктов было немного. Но зато появились какие-то диковинки замшелых бутылок с вином чуть ли не столетней давности. И стояли они каких-то баснословных денег. Зато открылись коммерческие магазины. Хотя мы все еще ходили в Институт, но его уже практически не существовало. Институт был «законсервирован», и все сотрудники, за исключением небольшой группы, были «сокращены по условиям военного времени». Получив расчет, я буквально по какому-то звериному инстинкту самосохранения стала покупать коммерческий хлеб и сушить сухари. Мой папа, человек хозяйственный, рассудительный (он был директором 384-й школы, депутатом Кировского райсовета, награжденным орденом Ленина и Трудового Красного Знамени), буквально издевался надо мной, говоря: «Нет, вы посмотрите на нее! — Сушит сухари! Да что ты в этом понимаешь! Это тебе не 19-й год. У нас продовольствия хватит на несколько лет!».

А я сушила и сушила на керосинке. И засушила две наволочки. Да еще мы, несколько человек, поехали в Шувалово и купили каждый по 3 ведра картошки. Потом я услышала, что в Новой Деревне много валяется листьев от капусты. Поехала. Привезла полный рюкзак этого первого листа. Нарубила «хряпы» и засолила полный бочоночек, в котором мы обычно солили грибы. Мама, которая только-только начала вставать и ходить после тяжелого инсульта, только удивлялась: откуда у меня вдруг прорезалась такая хозяйственность. А мне как-то казалось, что так делать нужно, а почему — объяснить не могла. Потом уже, вспоминая это время, я пыталась осмыслить свои действия. По

отношению к массовому поведению — это была какая-то аномалия. Даже на усеянном капустным листом поле было всего 4—5 человек.

Киноафиши предлагали посмотреть «Большой вальс». Приехал неожиданно мой школьный друг. Его отпустили из-под Ленинграда из части для исполнения задания, разрешив после этого свободное время до 21 часа. «Большой вальс» вполне уместался в это время. Это было счастье. Музыка Штрауса, дивная, упоительная — это мир! Мирные пейзажи, мирная яркая любовь, красивые лица — войны будто и не было... Увы, была! Только карета въехала в лес, раздался вой сирены... экран погас... Мы спустились с неба на землю и пошли со всеми в бомбоубежище. После отбоя досматривать не стали. Действительность слишком не вязалась с тем, что было на экране.

В первые дни сентября в город стали входить наши войска. Лица мрачные, обросшие, у кого винтовка, у кого нет, глаза устремлены на дорогу. Ощущение такое, что будто им как-то стыдно, неловко смотреть нам в глаза, нам, оставшимся внутри кольца и так верившим в своих защитников-бойцов. Они не видели, что у многих из нас при виде их на глазах стояли слезы: «Милые, родные, да разве вы виноваты!».

14 сентября, 16 часов, солнечный осенний день. Я пошла в столовую «Верный путь», что на Кировском проспекте (прямо напротив Пушкинской улицы, где мы жили). Взяв обед для папы, мамы и себя, я уже собралась уходить — тревога. Залаяли зенитки. Спустились в бомбоубежище. Тревога продолжалась долго. Наконец-то долгожданный отбой. Выхожу, при переходе Кировского смотрю сперва налево и замираю. За Кировским мостом вместо голубого неба поднималась черная стена. По ее нижнему краю время от времени вырывались огненные языки. Что горит? Что бомбили? Люди собирались кучками, строили догадки, не отрывая глаз от черной стены, которая, казалось, шла на нас. Шла черным горем — горели Бадаевские склады, сторала наша надежда «выжить»! Что было дальше — известно. Пайки продуктов резко стали сокращаться. Пока норма хлеба не дошла до 150 грамм. Стали, выходя за хлебом, спрашивать друг у друга: «А где хлеб посуше?» — и бежали (еще бежали) туда. Стало ясно, что мои сухари пригодятся. И очень. Папа помрачнел. Его школа оказалась за линией фронта и он был направлен директором в школу у Нарвских ворот, директор которой ушел на фронт. Когда перестали ходить трамваи, в школу ходил пешком. Через день, по очереди с завучем.

Так начались черные дни блокады. В Институт ходить было и трудно, и незачем. Разве когда проведать. В секторе фольклора стояла пе-

чурка, у стен — кровати, стол. Там жили член-корреспондент В.П. Андрианова-Перетц и доктор филологических наук А.М. Астахова. Они много работали, несмотря на тяжелый быт, и из своих меховых и теплых старых вещей шили варежки для бойцов. Я поступила вольнонаемной сестрой в эвакуогоспиталь № 99. Сутки дежурила, потом стояла в очереди за продуктами. Научилась спать стоя, привалившись к стене. Перестали давать свет. Это сделало холод и голод еще ощутимее. В надежде, что вдруг его дадут, хоть на час, не выключали. Иногда и давали. Жили с коптилками. Солярка и еще какая-то смесь керосина с чем-то издавали противный кисловатый запах. Вот такой запах и синий свет (а он был в трамваях, магазинах, учреждениях, когда все казались утопленниками помимо того, что были дистрофиками) я не переношу до сих пор. В сердце сразу поселяется леденящая тоска.

Дни становились все темнее и темнее, все холоднее делался воздух. До середины ноября я еще старалась пойти то в Институт, то в филармонию. Сидели в пальто. Когда начинались обстрелы, люстры издавали легкий звон, похожий на стон. В театре Музкомедии на артистов было трудно смотреть. Но становилось уже не до «отвлечений». Нужно было где-то раздобыть хворост, ломать кусты. А как? Днем — увидят, заберут. Ночью — людоеды. И это не сказки.

Вспоминается одна ночь. Спустя 46 лет охватывает холод ужаса. Была морозная февральская ночь. Темный город освещала огромная луна. Сильно мело. Я, уже после 11 часов, отправилась, как обычно, в очередь, которая выстраивалась около магазина № 8 — угол Плутановой и Большого проспекта Петроградской стороны. Мы же жили на углу Бармалеевой и Большой Пушкинской. Чтобы попасть в магазин, нужно было пройти отрезок в 3 дома по Бармалеевой улице и пересечь Большой проспект. И вот я вышла закутанная для стояния на всю ночь. На мое пальто была надета папина шуба, два платка, на ногах туфли вдеты, опять же, в папины валенки. Стоять в таком виде могла твердо, а вот быстро идти, тем более бежать, не могла. Под всей этой экипировкой на груди у меня в специальном мешочке лежали карточки 5 человек — мамыны, папины, мои, тети и дяди, которые жили с нами в одной квартире, т.е. на мне висела жизнь пяти человек.

Я вышла на темную лестницу и стала спускаться медленно вниз. На втором этаже что-то преградило мне путь, что-то лежало на ступеньках. Наклонилась — труп. Страх не было. С трудом перешагнула и вышла на улицу. После темной лестницы на улице было светло, как днем, и я пошла вправо к Большому проспекту. И тут, буквально через

несколько шагов я заметила, что из-за водосточной трубы отделилась фигура и со стоном, как стонали только дистрофики, вытянув руки с костлявыми пальцами, он направился ко мне. Глаза его фосфоресцировали, как у волка... И опять эта защитная функция организма — никакого страха. Голова работала четко: сколько шагов осталось? — секунда. Есть ли у него нож? Схватка неизбежна — хватит ли у меня силы задушить его? Ведь иначе со мной погибнет 5 человек. Я невольно в последний раз посмотрела на небо. И о чудо! Из-за угла, по Бармалеевой, быстрым шагом шел офицер. Я кинулась к нему. «Товарищ офицер, пожалуйста, проводите меня через Большой проспект к магазину. Это дистрофик-людоед!». Офицер оценил обстановку сразу. Прикрикнув на дистрофика, он, взяв меня под руку, помог перейти улицу. Этому неизвестному человеку мы обязаны жизнью. А дистрофик, скуля, опять куда-то запрятался, поджидая очередную жертву.

Были страшные дни 29—31 января 1942 года, когда вредительски был перекрыт водопровод, и пекарня выпекала хлеб только на той воде, которую привозили с Невы. Мне повезло. Как всегда стояли с ночи. К утру стали подходить какие-то типы и толпиться около начала очереди. Очередь заволновалась. Решено было создать «цепь» из тех, кто помоложе. В это охранение вытолкнули и меня. Мы — несколько женщин взяли под руки и, оттеснив типов, твердо заняли свои позиции, чтобы они не проникли в дверь булочной. Очередь успокоилась. Но вот щелкнул замок, дверь открылась, «типы» ринулись в дверь, смяв нашу цепь и буквально втолкнув нас в магазин. Оказавшись у прилавка, я отоварила все карточки на 3 дня. Магазин оказался весь набит толстомордыми мужиками-спекулянтами, а несчастная очередь так и осталась ни с чем.

Жизнь приобрела свой ритм: очередь, приготовление еды, священнодействия поедания — одни сутки. Вторые — госпиталь. И как только в стороне Пулковских высот начиналась канонада — опять тот же вопрос раненых: «Сестрица, что же там? Неужели опять наши не прорвались?» — А раненых везли и везли. Но вот выглянуло, пригрело солнышко и (уввы!) осветило весь неприглядный, мягко выражаясь, вид нашего любимого города. Начались расчистка, уборка, вывозка и очистка, и к середине апреля город уже готов был встречать Весну. Постепенно прибавлялся хлебный паек. По карточкам получали тушенку — как это было вкусно, да еще с кашей! Начали оживать учреждения. Но страх пережитой зимы не оставлял. Люди не улыбались, глаза как бы окаменели. Самое страшное это было видеть на детях. Невольно думалось: «А доживут ли они, доживем ли мы до того времени, когда за-

хочется смеяться, хохотать, веселиться?». Дожили. Но до этого момента вспоминается еще одно, незабываемое...

Приближалось 10 февраля 1945 года — 107 лет со дня смерти Пушкина. Я уже опять работала в Институте литературы в должности пожарника. Дирекция решила в этот день провести гражданскую панихиду на квартире Пушкина (Мойка, 12). Для подготовки хотя бы кабинета на квартиру были посланы пушкинистка Е.В. Фрейдель и я. Мороз стоял лютый. Скрипел под ногами снег. Красно-оранжевое солнце, зависнув за мостом Лейтенанта Шмидта, как-то холодно взирало на застывший город. Мы шли от Стрелки наискосок через Неву, чтобы сократить путь, и когда пришли к дому — ахнули. Все окна плотно заколочены досками (недалеко упала бомба). Двери — тоже. Еле-еле отодрали доски и открыли примерзшую дверь. Внутри по комнатам пробирались со свечкой. За четыре года все покрылось толстым слоем пыли, штукатурки, валялась ломаная и неломаная мебель.

Прежде всего расчистили кабинет и прихожую, куда должна была прийти капелла, вернее то, что от нее осталось. Но как мыть? Температура явно минусовая. Пошли к соседям. Нагрели ведро воды и решили вдвоем мыть чтобы быстрее... Не тут-то было — тряпка примерзла к полу. Тогда мы еще раз предельно нагрели воду и одна проводила тряпкой мокрой, а другая — сухой. Так мы вымыли кабинет, поставили постамент около дивана, на него — бюст Пушкина. На другой день с утра монтер должен был провести в кабинет электрическую лампочку.

Настало 10 февраля. Как и до войны в 14 часов началась гражданская панихида. 60-вольтовая лампочка с потолка освещала тех, кто пришел почтить память поэта. Их было немного. Почти все поместились в кабинете. Проникновенное слово произнес Л.А. Плоткин, выступил В.А. Мануйлов. Заслуженная артистка Тимэ (или Мичурина-Самойлова?), сказав о значении Пушкина для театра актера, как учит Пушкин русскому языку и тем самым живет и остается жить с народом, опустилась на колено, чтобы возложить лавровый венок к подножию постамента... Хор капеллы запел «Грезы» Шумана. Тут фотокорреспондент подключился к единственному «живому проводу», произошла перегрузка, и свет погас. Мы стояли в могильной темноте, звучала дивная музыка Шумана, и никто не только не вышел или шевельнулся, но, казалось, люди перестали дышать, пока хор не перестал петь. Когда монтер устранил замыкание и свет зажегся, — не было ни одного лица, не залитого слезами. Но никто их не стыдился. Боюсь, что это были наши первые слезы за годы войны. Пушкин как бы вдохнул,

вернул нашим сердцам и душам жизнь, наши жизни стали человеческими.

И еще. 9 мая 1945 года. Вероятно, уже накануне было известно об объявлении мира, и нам было дано распоряжение запастись... кто чем мог, — веточками березок с молодой листвой, подснежниками, лентами, бумажными цветами. Казалось, что все это правда и все же не верилось, было страшно, а вдруг?! (Вот тут было страшно — мы уже опять были людьми.) После объявления по радио из всех репродукторов полились звуки маршей, все что было в музыкальном арсенале торжественного, яркого, бравурного. К 12 часам нам было сказано выйти на Съездовскую линию Васильевского острова и встать на панели. Часа в два появились первые подразделения из-под Пулковских высот. Вот это была радость! Усталые, запыленные, они входили в город победителями. Они, как гирлянды роз, принимали наши жалкие букетики, мы обнимались, что-то кричали. Кто смеялся, кто плакал и смеялся сквозь слезы. На всю жизнь остались передо мной лучистые глаза солдата, которому я передала свой букетик подснежников. В них было солнце Победы, радость жизни! Они как бы кричали: «Я жив! Мы выстояли! Мы победили!».